Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана

Автор:
Олег Дорман

Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана

Олег Вениаминович Дорман

Лилианна Лунгина – прославленный мастер литературного перевода. Благодаря ей русские читатели узнали «Малыша и Карлсона» и «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, романы Гамсуна, Стриндберга, Бёлля, Сименона, Виана, Ажара. В детстве она жила во Франции, Палестине, Германии, а в начале тридцатых годов тринадцатилетней девочкой вернулась на родину, в СССР.

Жизнь этой удивительной женщины глубоко выразила двадцатый век. В ее захватывающем устном романе соединились хроника драматической эпохи и исповедальный рассказ о жизни души. М. Цветаева, В. Некрасов, Д. Самойлов, А. Твардовский, А. Солженицын, В. Шаламов, Е. Евтушенко, Н. Хрущев, А. Синявский, И. Бродский, А. Линдгрен – вот лишь некоторые, самые известные герои ее повествования, далекие и близкие спутники ее жизни, которую она согласилась рассказать перед камерой в документальном фильме Олега Дормана.

Олег Дорман

Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана

© О. Дорман, 2009, 2016

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Издательство CORPUS ®

* * *

Олег Дорман

Предисловие

Эта книга представляет собой запись устного рассказа Лилианны Зиновьевны Лунгиной о своей жизни, сделанную по многосерийному документальному фильму «Подстрочник». Я внес самую незначительную правку, обычную при публикации стенограмм, и добавил те части рассказа, которые не смогли по разным причинам войти в фильм, так что книга стала больше почти на треть.

Лилианна Лунгина (1920–1998) – прославленная литературная переводчица, в ее переводах русские читатели узнали «Малыша и Карлсона» и «Пеппи Длинныйчулок», романы Гамсуна, Стриндберга, Фриша, Бёлля, Энде, Колетт, Дюма, Сименона, Виана, Гари. Она переводила пьесы Шиллера, Гауптмана, Ибсена, сказки Гофмана и Андерсена.

В самом начале девяностых годов во Франции вышла книга воспоминаний Лилианны Лунгиной «Les saisons de Moscou» («Московские сезоны»): она стала бестселлером и, по опросу, традиционно проводимому журналом «Elle», была названа французскими читателями лучшей документальной книгой года. Однако выпускать свою книгу в России Лунгина решительно не захотела. Она считала, что для соотечественников следует написать ее иначе, заново, с первой до последней строки. Со своими, объясняла она, можно и нужно говорить о том, чего не поймут посторонние.

И однажды согласилась предпринять этот труд перед телекамерой. Думаю, французская книга стала просто черновиком ее многодневного рассказа.
В феврале девяносто седьмого года на протяжении недели мы с оператором Вадимом Ивановичем Юсовым и небольшой съемочной группой каждое утро приезжали в дом Лунгиных на Новинском бульваре, чтобы услышать и снять устный роман, который должен был потом превратиться в фильм «Подстрочник».

Долгая жизнь Лилианны Лунгиной прошла через разные страны и удивительно глубоко и ясно выразила двадцатый век. Век, который подтвердил, что нет жизни всех – есть жизнь одного человека. Что только один в поле и воин; что он сам и поле. Что человек – не игрушка обстоятельств, не жертва жизни, а неиссякаемый и потому неуязвимый источник добра.

Мало кому на свете достается счастье встретить таких людей, какими были Лилианна Зиновьевна и ее муж, знаменитый драматург Семен Львович Лунгин. А ведь, вероятно, другие люди – самое важное в нашей жизни. По другим людям мы судим о жизни, о том, чем способен быть человек, какой может быть любовь, верность, храбрость и правда ли то, что пишут в книжках.

Мне посчастливилось знать и любить их. Для меня честь представить эту книгу вам.

Слова благодарности

Хочу выразить признательность за неоценимую помощь в работе над книгой:

семье Лунгиных, Людмиле Голубкиной, Борису и Марине Золотухиным, Наталье Мавлевич, Инне Туманян, Роману Рудницкому, Марку Аронову, Феликсу Дектору, Ирине Мартыновой, Арине Истратовой, Ксении Старосельской, Анатолию Черняеву, Льву Безыменскому, семье Линдгрен, Жан-Пьеру Вернану, Кристин Лютц, Ляле, Нате и Зине Минор, Анне Гришиной, Нине Рубашовой, Георгию Кнабе, Беатрисе Олькиной, Наталье Мусиенко, Татьяне Соловьевой, Варе и Кириллу Арбузовым, Исаю Кузнецову, Инне Барсовой, Алле Черновой, Юлиане

Ильзен, Ноэми Гребневой, Евгению Аграновичу, Елене Ржевской, Галине Медведевой, Александру Кауфману, Александру и Галине Брагинским, Дмитрию Гутову, Ирине Сиротинской, Флоре Литвиновой, Галине и Владимиру Новохатко, Алле и Игорю Золотовым, Борису Левинсону, Наталье Цой, Юлии Ароновой, Дмитрию Шеварову, Юлию Лурье, Андрею Хржановскому, Маргарите Шабуровой, Марии Бубновой, Дмитрию и Максиму Голландам, Фрее фон Саун, Геннадию Фадееву, Светлане Новиковой, Рэне Яловецкой, Анне и Ивану Кузиным.

Посольству Франции в России и лично Кристин Вержеад, Игорю Сокологорскому и Дарье Аполлоновой;

посольству Германии в России и лично Забине Хофманн;

посольству Швеции в России и лично Марианне Хультберг, Кристине Иоханнесон, Марии Веденяпиной;

лицею Виктора Дюрюи в Париже;

мэрии Сен-Жан-де-Люза.

Полтавскому краеведческому музею и лично Людмиле Николаенко;

Краеведческому музею Набережных Челнов и лично Зульфире и Мансуру Сафиным, а также Леониду Горбунову;

Мосгорархиву и лично Лидии Наумовой;

Международному обществу «Мемориал» и лично Алене Козловой и Александру Даниэлю;

Музею и общественному центру имени А. Сахарова и лично Татьяне Громовой и Петеру Рэддвэю;

Дому-музею Марины Цветаевой и лично Надежде Катаевой-Лыткиной, Наталье Громовой и Эсфирь Красовской;

московской школе № 204 имени М. Горького и лично Галине Клименко;

издательству «Азбука» и лично Денису Веселову;

Российской государственной библиотеке и лично Ивану Сербину;

газете «Известия» и лично Людмиле Комлевой и Борису Пастернаку;

друзьям и ученикам Лилианны и Семена Лунгиных;

Варе Горностаевой, Сергею Пархоменко, Григорию Чхартишвили, Леониду Парфенову, Сергею Шумакову, без энтузиазма и помощи которых фильм «Подстрочник» не был бы показан в эфире,

а также Людмиле и Инне Бирчанским и Екатерине Дорман.

Олег Дорман

Подстрочник

Меня зовут Лиля Лунгина. С пяти до десяти лет, когда я жила в Германии, меня звали Ли?ли Ма?ркович. Потом с десяти до четырнадцати лет во Франции меня звали Лили? Маркови?ч. А когда я играла в мамином кукольном театре, меня звали Лили? Имали?. Имали – это мамин псевдоним, древнееврейское слово, которое значит «моя мама». Вот столько у меня было разных имен. И столько же было разных школ. Я училась, подсчитала как-то, в двенадцати школах. Но вот за эту долгую жизнь – мне шестнадцатого июня (девяносто седьмого года. – О. Д.) будет семьдесят семь лет, даже подумать страшно, никогда не думала, что можно дожить до такого возраста, – я так и не научилась называть себя по имени-отчеству. Это, наверное, черта нашего поколения, мы как-то очень

долго ощущали себя юными, и всё по именам, всё на «ты».

Но тем не менее семьдесят семь лет – это очень много, и пора подводить итоги. И не предварительные итоги, как назвал мой муж Сима[1 - Семен Львович Лунгин (1920–1996), драма тург. Ав тор сценариев «Мичман Панин», «Тучи на Борском», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Внимание, черепаха!», «Телеграмма», «Жил певчий дрозд», «Агония» (все – в со авторстве с И. Нусиновым), «Маль чик и лось», «Ро зыгрыш», «Трое в лодке, не считая со баки», «Я – актриса», «Дом с привиде ниями» и др. Автор пьес «Моя фирма», «Гусиное перо», «Семья Бахметьевых», «История одного покушения», «Пеппи Длинный чулок» (все – в соавторстве с И. Нусиновым). (Здесь и далее – прим. О. Дормана.)] последнюю часть своей книжки «Виденное наяву», а уже окончательные итоги. Но, с другой стороны, какие итоги можно подвести какой-то деятельности, какому-то призванию? Какие итоги можно подвести жизни? Я думаю, итоги жизни – это есть сама жизнь. Вся сумма прожитых счастливых, и трудных, и несчастных, и ярких, и блеклых мгновений, вся совокупность минут, часов, дней, сама, так сказать, эссенция жизни – это и есть итоги жизни, ничего другого итогом жизни быть не может. Поэтому мне сейчас хочется вспоминать. И тянет смотреть старые фотографии.

Очень хорошо помню минуту, когда впервые поняла, что я есть я, то есть что я отделена от прочего мира.

У меня есть фотография, где я сижу у папы на коленях, – вот на ней как раз и запечатлен этот момент. Я очень любила папу, он меня очень баловал, и до этой минуты я ощущала слитность с ним и со всем миром, а тут вдруг как бы противопоставила себя и папе, и всему, что было вокруг. Думаю, это было осознание себя как индивидуальности, как личности. До этой минуты я росла, как была, так сказать, запрограммирована генной программой, тем, что в меня было вложено от рождения. А вот с этой минуты, как только я осознала себя противостоящей этому миру, он стал воздействовать на меня. И то, что во мне было заложено, постепенно начало подвергаться изменениям, обработке, шлифовке – воздействиям внешнего мира, той большой жизни, которая была вокруг меня. Иначе говоря, мой опыт, то, что я переживала, те ситуации, в которые я попадала, тот выбор, который я делала, те отношения, в которые я вступала с людьми, – во всем этом все более и более ощутимо присутствовал мир, который бушевал вокруг меня. Поэтому я подумала, что, рассказывая свою жизнь, рассказываю не о себе, не столько о себе… Потому что мне казалось диким предложение – с чего это я буду вдруг говорить о себе? Я не считаю себя,

например, умнее других… и вообще не понимаю, почему должна говорить о себе. Но вот о себе как о некоем организме, который вобрал в себя, абсорбировал элементы внешней жизни, сложной, очень противоречивой жизни этого мира вокруг, – может быть, стоит попытаться. Ведь тогда получается опыт той, большой жизни, пропущенной через себя, то есть что-то объективное. И как объективное – может быть, что-то ценное.

Мне вообще думается, что сейчас, к концу века, когда идет такой страшный разброд умов и когда наша страна тоже не совсем понятно куда катится, – есть ощущение, что она катится в какую-то бездну, все убыстряя темп, – может быть, действительно важно и ценно сохранить как можно больше осколков жизни, которую мы прожили, – двадцатого века и даже, через родителей, девятнадцатого. Может быть, чем больше людей будет свидетельствовать об этом опыте, тем больше удастся из него сохранить, и в конце концов получится сложить из этих осколков более-менее целостную картину какой-то все-таки гуманной жизни, жизни с человеческим лицом, как теперь любят говорить. И это что-то даст, как-нибудь поможет двадцать первому веку. Я, конечно, имею в виду всю совокупность таких свидетельств, и моя здесь не капля, а сотая доля капли. Но вот возникло желание участвовать в этой капле хоть как-нибудь. И в таком виде я могу предпринять попытку немножко рассказать о себе, о том, что я прожила и как прожила.

Если говорят (во всяком случае, я так думаю), что художественное произведение, книга, фильм, должны нести какой-то «мессаж», какое-то послание людям, – и, наверное, каждое такое свидетельство тоже должно нести какое-то послание, – то мой «мессаж» я хочу сформулировать сразу. Больше всего мне хотелось бы передать, что нужно надеяться и верить в то, что даже очень плохие ситуации могут неожиданно обернуться совсем другой стороной и привести к хорошему. Я покажу, как в моей, а потом в нашей с Симой жизни многие беды оборачивались невероятным, удивительным счастьем, богатством, – я буду стараться подчеркивать это, чтобы сказать, что не надо отчаиваться. Потому что я знаю, сейчас очень много отчаяния живет в душах людей. Так вот, надо верить, надеяться, и постепенно многое может оказаться с другим знаком.

Вообще, как общее соображение – и мне его приходится высказать, потому что я это испытала на себе, – интерес к родителям просыпается поздно. Сперва идет отталкивание от родителей, утверждение своей личности и желание жить собственной, огражденной, самостоятельной жизнью. И такая увлеченность этой своей жизнью, что до родителей и дела толком нет. То есть их любишь, естественно, но они как бы не являются моментом жизни твоей души. А вот с годами все больше пробуждается интерес к каким-то истокам и хочется понять, откуда все идет, узнать, что делали родители, где и что делали дед и бабушка и так далее, и так далее. Это приходит с годами. Это я вижу и на своих детях, в которых постепенно, уже в зрелом возрасте, начинает слегка пробиваться интерес к папе и к маме, – к папе, которого уже нет… Но я и сама прошла такой путь, только уже в юности маму стала всерьез расспрашивать. Поэтому почти все, что я сейчас расскажу о дедушке и бабушке, – это не мои воспоминания, а воспоминания о рассказах других людей.

Мама и папа – из Полтавы, оба. Я всегда хотела туда попасть, много раз просила свою тетку, мамину двоюродную сестру, жену знаменитого академика Фрумкина, поехать со мной в Полтаву, потому что она могла бы показать, где был их дом, – но никак не получалось. А потом, на каком-нибудь уже тридцать пятом году нашей с Симой жизни, сама судьба распорядилась, чтобы мы попали туда. Сима перенес несколько тяжелых пневмоний, и нам сказали врачи, что нужно найти место с нежарким, но теплым и ровным климатом. Моя подруга Флора Литвинова, мама знаменитого диссидента Павлика Литвинова, посоветовала поехать в Шишаки, в семидесяти километрах от Полтавы. Там течет замечательная река Псёл, стоит сосновый лес, там очень красиво. Недолго думая – такие решения я принимала очень быстро – я попросила Флору снять для нас домик, и мы поехали. И так странно – совершенно случайно – оказались в Полтаве.

Это очень милый провинциальный город с пышными губернскими зданиями в центре. Вся окраина осталась, видимо, такой, как была. Очень необычной формы мазанки – в отличие от деревенских мазанок там много деревянных опор, поэтому это что-то более солидное, но тем не менее – приземистые одноэтажные домики с маленькими окошечками, больше похожие на амбары, чем на жилые дома. Я думаю, в те годы, когда там жили папа и мама, почти вся Полтава, кроме самого центра, выглядела такой. И я себе представляю, что в таком домике, белом – они все очень белые, потому что их мажут два раза в год, и весной и осенью, так что все это сияет белизной, – и жила мама – Мария Даниловна Либерсон. Маней ее звали в семье.

Знаю, что у них был двухэтажный дом. Первый этаж деревянный, а второй – глиняный, мазаный. Низ занимала аптека, и это была не простая аптека, а почему-то мой дед продавал там еще и игрушки. В аптеке имелся большой отдел игрушек.

Дед был не только хозяин этой аптеки, но и сам фармацевт, химик, занимался все время в лаборатории какими-то изобретениями – и обожал игрушки. Он выписывал новейшие экземпляры из Европы, из Америки. Говорят, даже из Киева ездили в Полтаву покупать у него игрушки. Самые новые. Он любил механические игрушки, про которые много лет спустя наш шестилетний сын Павлик сказал, когда его хотели повести на первую выставку игрушек в Москве: «Механическая игрушка меня не интересует». А вот деда моего крайне интересовала механическая игрушка.

Кроме того, дед имел медаль за спасение утопающих – он кинулся в воду и вытащил кого-то. И еще он командовал еврейской дружиной самообороны во время погромов.

Мой папа – Зяма, Зиновий Яковлевич Маркович. Его семья была бедная еврейская семья, что-то восемь или девять детей. Он единственный получил высшее образование. Дедушки и бабушки там совершенно не фигурировали. Фигурировал в моей жизни его брат, мелкий советский чиновник, мы к ним ездили в гости, уже в Москве, помню какие-то нескончаемые обеды, а потом сын его был арестован как троцкист и погиб в тюрьме. Больше с папиной стороны я ни о ком ничего не знаю.

Мама и папа – это гимназический роман. Мама закончила полтавскую гимназию, а папа – реальное училище с инженерно-техническим уклоном. У меня сохранилась заветная мамина тетрадка, в которой описано, как шестого июня тысяча девятьсот седьмого года на террасе ее дома праздновали это окончание. Праздновали дружеской компанией, три девочки и три мальчика, и есть запись удивительных, романтически-возвышенных планов, которые они имели на эту жизнь.

О маме и папе рассказ впереди, и о маминой подруге Ревекке, необычайной красавице, тоже, а пока мне хочется коротко сказать о трех других.

Миля Ульман перебралась в Москву, окончила университет и стала учительницей истории на советском рабфаке.

Папин друг Сюня уехал в Палестину и сделался профессором химии и завкафедрой в Иерусалимском университете.

Папин друг Миша стал социалистом и, когда началась война, написал письмо Плеханову с вопросом: нужно ли социал-демократу идти воевать или не нужно? И получил ответ, что обязательно нужно. Плеханов, в отличие от Ленина, был убежден, что надо защищать Россию. Миша пошел добровольцем и погиб.

Мама и папа были разлучены. После погромов седьмого года мамина семья уехала из Полтавы в Германию. Прожили там два или три года, а потом перебрались в Палестину. Но мама не вынесла разлуки с отцом. Она оставила родителей в Яффе и вернулась в Россию искать папу. А он тем временем успел кончить Петербургский горный институт.

2

В восьмом или девятом году, сразу после разгрома первой русской революции пятого года, волна ужасного разочарования накрыла молодежь. Главным образом – городскую, особенно в Петербурге. Возникла зараза, бацилла самоубийств. Начались массовые самоубийства. Молодые ребята не знали, что делать со своей жизнью, куда себя деть. Казалось, все перспективы, все надежды на какое-то изменение, на какое-то движение в этой стране утрачены. И вот в этот момент мама, которая была курсисткой на Высших женских курсах, вдруг в двух или трех газетах опубликовала такое послание, открытое письмо: юноши и девушки одинокие, приходите ко мне. Каждый четверг, с пяти часов, я открываю двери своей комнаты. Давайте будем вместе пить чай, кофе, будем разговаривать, дружить. Может, вместе нам будет легче жить, чем каждому в отдельности.

Это был по нравам, по принятым тогда нормам довольно смелый и странный поступок, который не прошел незамеченным. В те годы появилась книжечка «Кружок одиноких», а недавно, читая письма Блока, я совершенно случайно натолкнулась на упоминание об этом, на слова про мужественный и сильный

поступок курсистки Марии Либерсон. И мне было так странно и интересно читать – я увидела, что мама очень рано пыталась включиться в какую-то большую жизнь. Она не жила внутри своего маленького кружка, а была открыта людям, и это мне, конечно, нравилось.

Из письма Марии Либерсон А. Блоку:

Вчерашний реферат еще лишний раз показал мне, как бездонно глубок вопрос об одиночестве и как назрел он теперь в обществе.

Александр Александрович, может быть, роковая черта между интеллигенцией и народом так непереходима потому, что еще более резкая черта существует теперь между одним интеллигентом и другим? Может быть, интеллигенту нет дороги к народу потому, что интеллигент так бесконечно одинок?! М. б., единственный путь к душе народа – это борьба с одиночеством и разобщенностью интеллигенции?

Вы вчера сами сослались на самоубийц, которые подтверждают Ваше положение, что так жить очень тяжело, почти невозможно.

А от каких бы причин человек ни уходил из жизни, – в момент самоубийства он несомненно глубоко одинок[2 - Благо дарим за предоставление этого письма, хранящегося в РГАЛИ (ф. 55, оп. 1, ед. хр. 311), профессора Д. М. Магомедову, специалиста по жизни и творчеству А. Блока.].

У них с папой уже была большая любовь, как я понимаю.

И тут началась Первая мировая война, папа пошел воевать, что называлось, «вольноопределяющимся», – на самом деле это была обязательная служба, его призвали. И попал в немецкий плен. Почти четыре года сидел в немецком плену, поэтому потом очень хорошо говорил по-немецки.

У меня есть открытки, которые он писал из плена.

А мама во время войны организовала детский сад для еврейских детей, чьи отцы были мобилизованы. Первый еврейский детский сад, «пятидневку», то есть там дети жили, спали, их разбирали только на выходной день. В дневниках она с необычайной любовью пишет об этих мальчиках и девочках, о том, как трудно их было заполучить, как матери, нищие, голодные, тем не менее боялись отдавать детей, как она их уговаривала, и описывает историю сада день за днем, о каждом ребенке что-то пишет. Это трогательно, я почти не могла читать без слез, потому что о каких-то совершенно для меня поначалу абстрактных Мойшах и Юдифях мама писала с такой любовью: вот он сегодня в первый раз правильно сказал такое-то слово, а Юдифь в первый раз вылепила ослика. Все это фиксировалось, все это маме казалось необычайно важным, полным содержания, и тем самым работа в детском саду (она нашла себе еще двух помощниц) выглядела исключительно поэтичным занятием. Как будто бы она из них выращивала редкостные цветы. Каждый был экземпляр сам по себе, каждого поливали особой водой в особом режиме, и вот постепенно, по мере того как я читала дневник, эти дети расцветали: кто умел петь, кто умел танцевать потом, кто умел лепить или читать стихи. Совершенно забитые, задавленные, они превращались в маленькие растеньица, любовно выхоженные.

И конечно, я была этим пленена. Я увидела, когда стала читать дневник, маму в другом свете. Не в бытовом – не ту маму, которая спрашивает, когда я приду домой, завязала ли я шарф или съела ли я котлету… Вообще мама каждодневно хозяйничала плохо, мама умела только праздники устраивать. Вот накрыть на стол для праздника, что-то приготовить необычайное, написать обязательно меню в стихах – это сколько угодно. Будни ее не интересовали. Она была человеком какой-то… праздничной жизни.

Папа вернулся из плена, как и все, к концу войны, в девятнадцатом году. Видимо, тут они окончательно соединили свои жизни. И так как папа успел вступить в какую-то еврейскую рабочую партию, не Бунд, а другую, которая в семнадцатом году, когда коммунисты пришли к власти, слилась с компартией, то он оказался членом партии большевиков. И получил сразу первое назначение – заведующим гороно в город Смоленск. Куда папа с мамой и переехали, там им дали комнату – келью в Смоленском монастыре, превращенном в общежитие для командированных, – где шестнадцатого июня тысяча девятьсот двадцатого года я и родилась.

Так как папа был из немногих большевиков с высшим образованием и каким-то образом был знаком с Луначарским, тот, когда мне было полгода, вызвал его в Москву, и папа стал в Комиссариате народного просвещения у Луначарского одним из его замов. Так мы поселились на Сретенском бульваре в огромном доме, где было пятнадцать или двадцать комнат в квартире, двадцать хозяек на кухне и большущий камин в нашей комнате, на котором, сколько я себя помню, всегда сохли головы, слепленные из черного хлеба: головы кукол. Весь московский период, а потом и в дальнейшем меня сопровождали куклы. Мама была страстной любительницей кукольных театров и хотела создать свой театр. Черный хлеб был совершенно несъедобный, он был мокрый и склизкий, и мама его употребляла как пластилин, как глину.

Вообще у мамы был ярко выраженный интерес к театрально-прикладному искусству. Первый кукольный театр она устроила еще в Петербурге, в детском саду. А в Москве познакомилась с замечательным кукольником и скульптором Ефимовым. У них с женой есть очень хорошая книжка, называется «Петрушка»[3 - Симонович-Ефимова Н. Записки петрушечника. М. – Л.: 1925.]. Он был анималистом и, между прочим, выставляется до сих пор, это очень хороший был художник, но его погубил Сергей Образцов, его ученик и, в какой-то мере, даже ученик мамы, потому что мама первая к Ефимовым прибилась. А потом Образцов всех загубил, говоря так: «Или работайте у меня, на меня, – или я вас задушу». Что он очень удачно и делал.

Когда мне было два года, мама возила меня в Берлин, в немецкий пансион, где мы встретились с бабушкой. Сама я почти ничего не помню, но судя по маминым письмам отцу, бабушка все время критиковала ее за то, что я не так одета, не так причесана.

Вот несколько выдержек из писем, которые мама писала папе из этого санатория «Беркенверден» в сентябре 1922 года:

С мамой отношения все еще продолжают быть довольно прохладные, как-то у нас с ней совсем разный подход ко всем вещам. К Лилит она тоже совсем не умеет подойти. Вот образец ее педагогических приемов. «Люся, – это имя ей больше импонирует, – Люся, хочешь шоколад?» – «Дай кахалат!» – радуется

Лилит. «Тебе нельзя, у меня больше нет, а вот мы купим завтра». – «Дай кахалат!» – кричит Лилит. «Зачем же ты ей предлагаешь, если нет?» – удивляюсь я. «А что такое, нельзя спросить? Она должна быть воспитанным ребенком и понимать, что значит слово «нельзя». И длится лекция на два часа о невоспитанности Лилит. Кроме того, Лилит не имеет права не только кричать, что является потребностью таких маленьких зверьков, даже не имеет права громко смеяться, – ее сейчас же одергивают: «Тише, не шуми, замолчи, ты мешаешь другим». Она должна ходить как по струнке и быть благовоспитанной девицей. Несмотря на мои протесты, Дебора Соломоновна ведет с Лилит беседы на теологические темы. Сегодня Лилит мне говорит: «Ну, мамочка, ничего, Бог с тобой». Я хотела узнать, как она понимает слово «Бог», и спросила ее: «Что это «Бог», я не понимаю». – «Бог», – это… я понимаю, но не могу сказать, – ответила Лиля. – Подожди немного. – Она минуту задумалась. – Бог – это такое имя, его никто не видит, это – только имя, чтобы молиться». Эти слова я записала дословно. О тебе Лилит спрашивает каждый день: «Где мой папочка?» – это первый вопрос, когда она утром открывает глазки. «Дать тебе шоколадку, что ли?» – спросила я ее. «Дай мне папочку», – она ответила. Такая долгая память удивительна для маленькой, для такого маленького ребенка.

И еще пустячок:

Дорогой друг Зямочка. Сегодня ровно два месяца, как мы уехали из Москвы, и мне кажется, что это было давным?давно. Теперь осень, и мне немного грустно, как всегда бывает осенью, но мысль, что скоро я увижу милого, заставляет радостно биться мое сердце. У меня есть для него много нежных слов и нежных поцелуев, и, странно, я должна признаться, что отношусь к нему не как к своему мужу, которого знаю уже целую вечность, а как к милому, в которого я влюблена. Но это я сообщаю только по секрету, ведь неловко объясняться в любви к человеку, у которого такая большая дочь, – два года и четыре месяца, без шести дней. Большая красавица дочь тоже влюблена в своего папу и каждый день меня спрашивает: «А когда мы поедем к папе Ляме?»

В конце двадцать четвертого года мы с мамой ездили к бабушке в Палестину. На пароходе из Одессы. Помню только два смешных эпизода, больше ничего не помню.

Египет славится какого-то необычайного качества и красоты глазированными фруктами. И мама купила там в подарок две колоссальные коробки этих глазированных фруктов. Когда мы приехали, то оказалось, что внутри пусто. Термиты – огромные муравьи – за оставшиеся сутки, пока мы от Египта плыли до Яффы, слопали эти фрукты до последней крошки. Это первое, что осталось у меня в памяти, а второе – я помню, что когда мы приехали в Яффу, где происходила разгрузка, то не было почему-то трапа. И хватали багаж, а потом пассажиров и кидали их вниз – там большие такие лодки подходили к кораблю, не было хорошего причала. И вот схватили не только меня, но и маму и кинули, а в лодке стоял араб, который ловил. Вот это я очень хорошо помню.

Дедушка к тому времени уже умер, и бабушка жила со своей сестрой тетей Анткой в маленькой, как считалось, но для меня большой, шестикомнатной вилле, которая называлась «Вилла Лили». В честь внучки. Там было шесть пальм банановых и двенадцать апельсиновых деревьев – сад.

Дедушка, когда приехал в Палестину, заработал деньги тем, что мгновенно придумал способ очистки морской воды от соли. Построил сначала маленькую лабораторию, а потом фабричку. И на заработанные деньги они купили этот домик и там жили.

Была весна. Помню очень интенсивный запах апельсинно-мандариновой, лимонной цедры – оказывается, так пахнет, когда цветут деревья. Это очень красиво, я помню. И помню деревянные тротуары. В то время Тель-Авив был еще полуболотным местом, и, чтобы осушить его, всюду насаждали эвкалипты, а между ними делали такие мостки – типа тротуаров получалось. А эвкалипты высасывают с нездешней силой воду…

Больше ничего не помню об этой поездке, даже не помню, как мы возвращались, пароходом или нет, – не помню, какой-то пробел.

Когда мне было года три или четыре, папа купил мне козочку. Мы пошли с ним вместе на рынок за капустой, был такой большой рынок на площади Белорусского вокзала, и я увидела белую козочку и обмерла.

И стала умолять, говорила, что не хочу с ней расставаться. Я ее обняла, очень хорошо помню, как обхватила ее ручками, и папа не мог устоять. И вот мы явились к маме с живой белой козочкой. Ее на первую ночь поместили под папин

письменный стол, и я требовала спать с ней рядом, обнявшись, под этим же письменным столом. В общем, она два или три дня, к ужасу соседей, бродила по комнатам – а это были большие роскошные квартиры, очевидно, каких-то богачей дореволюционных, которые превратили в ужасные коммуналки для сотрудников Наркомпроса. И вот, значит, пятнадцать – двадцать комнат, при этом одна ванная, одна уборная, одна кухня – и тут еще козочка появилась для оживления ситуации. А на четвертую ночь она начала глодать книги. Помню себя рыдающей, когда мама с папой отвезли ее в какой-то детский сад. Вот это четкое мое собственное воспоминание.

Еще я помню, странным образом, как папа утром, когда брился, пел и мама ему говорила: перестань петь – нельзя сосредоточиться. А мама работала тогда в каких-то дошкольных учреждениях и писала по утрам отчеты. А папа ей отвечал – странно, почему такие вещи запоминаются, – он говорил: я не буду петь, а ты когда-нибудь будешь думать: как жалко, что он больше не поет, как хорошо бы, чтобы он запел. Вот это я помню, вот эту фразу я помню: «как хорошо бы, если бы он запел». И еще помню, как мы катались на Сретенском бульваре на санках, заснеженную Москву помню, потому что потом я уже снега не видела, в Берлине снега не было.

4

В двадцать пятом году был брошен клич, что нужно начать торговать с Западом, покупать машины и заниматься индустриализацией страны. Многих членов партии с высшим образованием стали посылать на загранработу. И папа как дипломированный инженер, свободно говорящий по-немецки, должен был покинуть свой пост в Комиссариате народного просвещения и поехать в Берлин – заместителем Крестинского, который был тогда полпредом, а потом замминистра иностранных дел. В тридцать седьмом году Крестинского арестовали и расстреляли. А жена его, главврач Филатовской больницы, много лет провела в лагерях. Дочь Крестинского, потом тоже арестованная, училась со мной вместе в русской школе, организованной при посольстве. Моя мама была назначена директором и вела класс, а кроме того, занималась с ребятами рисованием и организовала кукольный театр.

От этого первого учебного года у меня осталось одно яркое воспоминание. Как-то раз к нам приехал Горький. Он эмигрировал из России еще в двадцать первом году и жил в Сорренто. Очень высокий, сутулый, голубоглазый, с нависшими косматыми бровями. Мы по очереди прочитали ему по одному из его стихотворений. Горький каждого поцеловал в лоб и от умиления, как с ним это бывало, расплакался.

Германия в моей памяти слилась в какой-то один большой детский день. Это было детство. Я играла в куклы, мечтала иметь коляску для кукол, которую папа принципиально не хотел покупать: козочку купил, а коляска для кукол, он считал, – это недостойно советской маленькой девочки, слишком буржуазно. Но я мечтала, это была неосуществленная моя мечта.

Дважды приезжала бабушка. Водила меня в кафе и покупала особенные конфеты – ананасы в шоколаде, которых почему-то больше никто мне не покупал.

За время нашей жизни в Германии я превратилась в немецкую девочку. Потому что я ходила в посольскую школу только первый год, а потом пошла в нормальную немецкую гимназию, научилась писать готическими буквами, бойко читала детские, готическими буквами напечатанные книжки. Готическое письмо совсем особенное, и я думала, что с тех пор забыла его. Но как-то недавно попалась на глаза книжка – нет, читаю.

Вели альбомы, писали туда друг другу дурацкие стишки. У меня хранится этот альбом. Вот, например, запись по-немецки: «Если ты думаешь, что я тебя не люблю и с тобой только шучу, то зажги фонарик и посвети мне в сердце». Или: «Если когда-нибудь через много-много лет перечитаешь этот альбом, то вспомни, какие мы были маленькие и веселые и как мы легко ходили в школу». Вот такие стишки.

Сидеть надо было положив руки на парту – строгая немецкая гимназия. Женская – мальчики и девочки тогда учились отдельно. Ну, были перемены, были глупые девчачьи игры… Охотно ходила. Никаких негативных эмоций это не вызывало. Как-то все ходили. Вообще, в тот момент мне хотелось быть как все, жить как все, сливаться. Впрочем, это желание потом тоже было, я расскажу. Но тогда это легко получалось.

Каждое лето мы ездили куда-нибудь. В Зальцбург два раза, в Швейцарию, в Париж – первый раз я в Париже была в семь лет.

Помню, как из Парижа папа почему-то поехал в Ниццу, а мы с мамой – в Биарриц, на южный берег, и мама на почте написала ему стишок:

Из Москвы до Биаррица

Прилетела Лиля птицей

И, увидев Биарриц,

От восторга пала ниц.

Не сравнить хвоста синицы

С оперением жар-птицы,

Так бледнеет ваша Ницца

Пред красою Биаррица.

Мой совет: пора решиться

С Ниццей вам скорей проститься,

Взяв билет до Биаррица.

Ваша Лиля-баловница.

Как сказать, какая была мама? Мама была полна шуток, игры. В ней очень сильное было игровое начало. Скажем, из противной снятой комнаты где-нибудь в гостинице или где угодно мама в мгновение ока делала что-то индивидуальное: тут накинет свой шелковый платок, там что-то переставит, передвинет, купит какую-то вазочку с цветами, и сразу все оживало. У нее был дар интерьера, желание видеть вокруг себя красивые вещи – и шутить. Мама с детства очень легко рифмовала и писала всякие шуточные стихи. Ну вот эпитафию такую, скажем, написала:

Умру, стихов останется тетрадка.

Заглянешь в них когда-нибудь украдкой

и скажешь: «Все же был родной котяга

(я маму почему-то звала кошкой, котягой)

слегка – поэт, в душе – большой бродяга,

лирически мяукал он и прочее

и вместо точек ставил многоточие.

Кошачей всей душой любил стихи и шпроты,

не выносил избитые остроты,

охотно кушал взбитые он сливки

и мог пригубить капельку наливки.

Но больше опьянялся он мечтами

и не общался с прочими котами.

Вот в таком духе. Это писалось, не отрывая пера от бумаги.

И потом помню, как мы пошли на вокзал и приехал папа к нам в Биарриц, какая это была радость. Море, скалы, прекрасная беззаботная радостная жизнь. Это была жизнь как у всех. Все куда-то уезжали летом, все потом рассказывали друг другу, где они были…

И этому наступил конец. Всегда мы ездили на каникулы или в Швейцарию, или во Францию. Куда-нибудь. А тут папа решил в свой отпуск поехать в Россию, посмотреть, как работают машины, которые он покупал.

Мама его уговаривала не ехать. Она как-то боялась. Мама вообще боялась советской России, и в дальнейшем это скажется на нашей судьбе. Раздался телефонный звонок, и какой-то человек попросил свидания с папой. Папа хотел узнать, кто это, человек ответил: «Я должен остаться для вас инкогнито». Папа отказался с ним встречаться. Через два дня он снова позвонил и сказал, что «речь идет о благополучии и жизни вашей семьи». Ну, папа с ним встретился в кафе. И тот человек, русский, папе не знакомый, не назвавшись, сказал: «Вы не должны ехать в Россию, вас оттуда назад не выпустят».

Папа, придя домой, пересказал их разговор маме, я помню. Он считал, что это провокация, что это коммунисты проверяют, насколько он надежен. И сказал:

«Ну, теперь уж мне точно надо ехать». И уехал.

Когда папа должен был вернуться из отпуска, мы поехали встречать на вокзал – его в поезде не было. На другой день он позвонил и сказал только: «Не ждите меня». А через два дня нам привезли письмо, которое он передал с оказией. Письмо, в котором он писал: «Я в Берлин больше не приеду, вы должны вернуться ко мне».

Папу взяли из поезда. Он уже сидел в поезде с багажом, пришли два человека, проверили документы и вывели его. Это была излюбленная тактика ГПУ – хватать человека в последний момент и у всех на виду. Такой удар по нервам жертвы, а заодно и свидетелей. Папа был уверен, что это арест, но его не арестовали, просто отобрали заграничный паспорт и сказали, что отныне он будет работать в России.

Жить было негде. И он жил у своего брата, о котором я уже говорила, у того была маленькая комната – восемь метров, где жил брат, его жена, его сын, пока сына не арестовали, но больше места ни для кровати, ни даже для матраца не было, поэтому папа спал почти четыре года на письменном столе. На него стелили что-то, и вот так папа спал. Нам, конечно, возвращаться было некуда. Но не только в этом дело. Мама боялась возвращаться.

5

Жили мы на Гогенцоллернплац, снимали квартиру. Тогда это был большой сквер. Двухэтажный домик, наши четыре комнаты на первом этаже, окнами в сад. Как-то раз вор забирался. Я проснулась и слышу, мама с кем-то разговаривает. Смотрю, молодой парень стоит за спинкой кровати. Он через полуоткрытую балконную дверь вошел к нам в комнату, и мама вступила с ним в беседу.

Полтора года назад мы с Симой были в Берлине и пришли на то место. Все сметено, никакого сквера, никаких садиков, стоят восьми-девятиэтажные здания. Я ничего не нашла, никаких следов своего немецкого детства.

До последнего года моей там жизни я жила какой-то детской, детски-усыпленной жизнью. Душа как бы не жила еще. А потом у меня появилась первая душевная подруга – немецко-еврейская девочка Урсула Хоос из очень богатой семьи немецкой. Когда я пришла к ним в гости, то с изумлением обнаружила, что Урсула живет в апартаментах из трех комнат: спальня, учебная комната и игровая комната. А когда нас звали обедать, то все это было как-то невероятно монументально, как бывало только в Германии: тяжелые драпри, какие-то немыслимые люстры, стол, где каждый сидит на расстоянии метра друг от друга, а сам стол – метров двенадцать длины. Папа ее был юнкер чисто арийского происхождения, а мама и родители мамы – евреи. Хоос – это немецко-юнкерская фамилия.

Помню, что, представляя меня своим родителям, мама Урсулы сказала: «Лиля приехала из Советского Союза, но она тоже еврейка и очень милая и умненькая девочка». Именно тогда я в первый раз почувствовала, что быть еврейкой – это что-то особенное, но совершенно не поняла, хорошо это или плохо.

И я Урсулу, Улю, необычайно полюбила. Это было первое, наверное, проявление поисков дружбы, друга, которые потом такое важное место занимали в моей жизни.

И еще я начала читать. До какого-то момента я мало и плохо читала. Помню, как Уля мне говорила: «Что я тебе буду давать книжки, ты все равно их не успеешь прочитать». И вдруг произошел какой-то прорыв. Помню, на какой это было книжке. Это был немецкий перевод замечательной датской писательницы, которую я потом, через много лет, сама переводила и редактировала, Карин Михаэлис. У нее была детская книжка двухтомная – «Биби». Вот на этой книжке я научилась быстро и увлеченно читать.

«Биби» Карин Михаэлис я привезла в Москву, я с этой книжкой не расставалась никогда, вот сколько уже – шестьдесят пять лет, наверное, – она со мной. Это по форме, как любили писать тогда, – путешествие девочки. Девочка едет из одной провинции в другую. Как бы географический рассказ о Дании и вместе с тем о разных нравах; и, может быть, тогда во мне пробудилась любовь к перемещению, к новому. В общем, очень хорошая книжка и писательница хорошая, Карин Михаэлис.

Так душа, кроме дружбы, стала жить чтением. Вторая книжка, которую я прочла и которая окончательно это закрепила, – «Доктор Дулиттл», перевод

с английского. То, из чего Чуковский сделал «Доктора Айболита». Это ведь не им выдуманный образ, он только переписал историю в стихах, а вообще это большой многотомный английский детский роман. Очень увлекательный, когда тебе девять или десять лет.

И вот от этих двух прочитанных книг расширился мир.

Была и другая причина, пробудившая меня. Все-таки я хочу это рассказать, потому что в моем становлении это очень важный момент. Я говорила вначале, что меня формировала внешняя жизнь. Шел тридцатый год. На улицах Берлина начались манифестации – коммунистические и гитлеровские. Это были небольшие группы – по пятьдесят, по сто человек – с какими-то лозунгами, знаменами. Очень часто кончалось потасовками. Несерьезными. Я прекрасно помню. И от этого оставалось чувство тревоги. Улица перестала быть спокойной, там все время что-то происходило. И, в общем, мама понимала, что оставаться в Берлине невозможно. Вся русская эмиграция тогда тоже ринулась из Берлина в Париж. А мама сперва решила поехать к бабушке в Палестину. Но мы уехали не одни.

У хозяйки домика, где мы снимали часть большой квартиры, был сын, которого звали Людвиг и который сперва свел дружбу со мной. Очень красивый молодой человек, моложе мамы, думаю, лет на пять, необычайно стал за мной ухаживать. Водил в детские кафе, в кукольный театр, в кино, – в общем, каждые два-три дня Людвиг со мной куда-то ходил, и я его сильно любила.

А потом смотрю, он стал уже вместе с нами обедать, и то и се. А потом мама мне сказала, что на несколько дней уезжает в Гамбург, и Людвиг вместе с ней исчез. А когда мама вернулась, она сказала, что решила выйти за Людвига замуж, что развелась с отцом и что вот это отныне мой новый папа. И я его мгновенно, с пол-оборота, возненавидела.

Мама сердилась на папу за то, что он поехал в Москву, хотя его предупреждали. Она увидела в этом пренебрежение семьей, ею, мной. Возвращаться она боялась – некуда было возвращаться. А тут красивый молодой журналист, очаровательный парень. Закружилась голова. Она потом дорого заплатила за это.

И вот в такой компании – мама, Людвиг и я – мы отправились в Палестину. И это был, по-моему, единственный период в моей жизни, когда я была не доброй девочкой, а злым мальчиком. Я все делала наоборот. Я помню это свое состояние какого-то бешенства.

С одной стороны, значит, Людвиг, с другой стороны – Урсула Хоос. Я была в отчаянии, что нас разлучили, что я ее теряю. Без конца, всю дорогу на пароходе писала ей бесконечные письма своими дурацкими готическими буквами.

Позже – мы с мамой уже переселились в Париж – я пыталась разыскать Улю. Но вся ее семья сгинула, когда нацисты пришли к власти. Мы не смогли найти никаких следов. Это было для меня великим горем.

Когда мы приехали в Палестину, я себя так плохо вела по отношению к Людвигу, что мама не захотела даже жить со мной у бабушки. Меня оставили у бабушки, а они сняли себе где-то квартиру.

Тель-авивские эвкалипты уже превратились в огромные роскошные деревья, которые полностью затеняли улицы, и можно было в эту жару ходить в тени.

У меня была только одна задача: освободиться от Людвига. Любопытно, я ведь вообще человек очень доброжелательный и благодушный. Но это был настоящий кризис. Единственное очень приятное воспоминание от той поездки – конкурсы на лучшую крепость из песка. В Тель-Авиве изумительный широченный песчаный пляж. Вот там устраивали эти соревнования. И я вдруг проявила недюжинные архитектурные способности и получила третье место, что было колоссально. Это была моя первая радость от какого-то творческого акта. Возникло ощущение, что я на что-то способна, могу сделать что-то, что может кому-то показаться хорошим и интересным. И на фоне моей дикой негативности, связанной с Людвигом, это имело еще особую цену.

Я ходила в школу, очень смутно это помню, занятия шли на иврите, языка я не понимала, что-то ловила на ходу. Училась всего месяц – мы приехали весной,

потом лето, каникулы. А осенью мама решила уезжать. Ей было скучно в Тель-Авиве и совершенно нечего делать. И вот было решено ехать в Париж.
Но Людвиг считал, что в Париже не найдет работу, и отправился в Америку, взяв с мамы клятвенное обещание, что, как только он устроится, мы приедем к нему в Нью-Йорк.

Моя бабушка Дора Соломоновна была крайне недовольна мамой. У меня в памяти на всю жизнь остались какие-то фразы. «Маня вечно что-то выдумывает, все не как у людей. Жила бы себе здесь спокойно, в Палестине, жила бы с Людвигом, такой степенный, красивый молодой человек. Нет, он ее не устраивает. Почему-то ему нужно в Америку ехать, и она его отправляет, а сама придумала ехать в Париж. Хоть бы с ним поехала в Америку, так тоже не желает. Собралась в Париж. Я знаю, чем это все кончится: к своему Зяме вернется, в Россию».

Почему-то получилось так, что наш отъезд был назначен на субботу. А это очень серьезная вещь в Палестине, потому что в субботу ничего нельзя делать, в том числе нельзя ехать на извозчике. Бабушка была неверующая, и не религиозные соображения ее удерживали: она боялась мнения соседей. Она безумно волновалась и говорила: вот, мы расстанемся, увидимся ли когда-нибудь, я должна вас проводить. А с другой стороны – не смела бросить вызов этому маленькому обществу и сесть в коляску. Какую-то вуаль себе достала из шкафа, думала, может, не заметят в вуали, примеряла эту вуаль. В итоге бабушка нас не провожала. И на меня это обстоятельство, что мнение соседей оказывает на нее такое влияние, что она так мучается, можно поехать провожать или нельзя, произвело огромное впечатление. Мне было десять лет, я все понимала. Я подумала, что мама права – жить в этом месте нельзя. Жить там, где ты не смеешь делать то, что тебе хочется, не годится. Это было для меня одним из первых социальных уроков. И мы уехали.

Я считаю, что довольно поздно повзрослела. Вот тогда, на пороге девяти-десяти лет. Конечно, уже с пяти лет я как бы понимала себя в противостоянии миру, но ведь жизнь духа – это все-таки страдание. С первым страданием, с первой болью пробуждается душа, я в этом уверена. В счастье она только купается, она не пробуждается, она себя не осознает до конца. А изведав страдание, потом живет и счастьем. Но пробуждение связано с какой-то болью. Так мне кажется, так я думаю, во всяком случае, на моем опыте это было так. И вот боль за папу, возмущение от появления нового человека, который был прекрасен как мой друг, но только не на том месте, на которое претендовал… И он еще

меня поучал… Он был довольно забавный человек, писал стихи, они с мамой переписывались стихотворными немецкими посланиями. Все это так, но меня это ничуть не радовало, а только возмущало. Все в нем меня возмущало с той минуты, когда он занял место, на которое, с моей точки зрения, не имел права.

И вот первое горе любви, дикая обида за папу, разлука с Урсулой – это, в общем, порог. Я осознала как следует эти изменения состояния своей души, когда мы плыли на пароходе до Марселя. Довольно долгое тогда было путешествие, дня четыре, пять или даже шесть. Я была начинена горем разлуки, ненавистью к своему спутнику, лежала на палубе в шезлонге, очень хорошо помню, и шла какая-то ощутимая мною внутренняя работа.

И вот в этой боли поворот какой-то произошел, уже как бы к взрослой жизни. В Париж я приехала взрослой девочкой.

7

Из поездки на пароходе до Марселя я помню только, что мама меня научила пяти французским словам. Я знала «мадам», я знала «пардон», и я знала тот лозунг, который был написан на каждой французской монете, – «либерте, эгалите, фратерните» – свобода, равенство, братство, лозунг Великой французской революции. Вот с багажом из пяти французских слов мы благополучно прибыли в Париж.

Бульвар Пастера, тринадцать – на всю жизнь запомнила этот адрес, дом Ревекки, маминой гимназической подруги. Она вышла замуж за сына очень знаменитого в России в те годы профессора психиатрии Минора. Поехали они в Париж, она там работала в советском посольстве, но когда в тридцатом году Сталин подписал декрет, что тот, кто немедленно не вернется, получает кличку «невозвращенец» и теряет советское гражданство, Ревекка не вернулась и осталась со своими двумя детьми в Париже.

Помню, как в первый же вечер Ревекка с мамой куда-то ушли – очевидно, наслаждаться ночной парижской жизнью, а мы, дети, остались одни. Мальчик

Ляля, на три года старше меня, и девочка Зина, немыслимая красавица, на пять лет меня старше, белокурая, с совершенно роскошными локонами. Меня положили спать в кресле, потому что больше было некуда, а мальчик Ляля делал самолетики из бумаги, запускал через окно и в ночной рубашке бегал вниз, на бульвар Пастера, их собирать. Вот это мое первое парижское воспоминание, очень яркое, на всю жизнь оставшееся.

Потом, довольно скоро, мама сняла то, что французы называют «студио», – это однокомнатная квартира с большой комнатой, с ванной комнатой и не кухней, а таким как бы шкафом в передней. Она хотела быть поближе к Ревекке, и это было очень близко от нее. 32-бис, рю дю Котантен, возле вокзала Монпарнас. Два новых дома, в соседнем, без «бис», жил Илья Эренбург. Каждое утро, направляясь в школу, я его встречала. Он шел с двумя черными собаками, низкими такими, типа терьеров, которых вел на поводке, с длинным французским батоном «багет», больше метра, под мышкой и свежими газетами. Что это Илья Эренбург, известный русский писатель, сказала мне мама.

Сперва меня отправили в районную школу. Там учились дети самого непривилегированного класса. И вот представьте себе десятилетнюю девочку, которая кое-что уже пережила, кое-что уже поняла, которая знает уже и что такое разлука, и что такое потеря. И вдруг я оказываюсь в классе, где было человек тридцать пять, ни слова, кроме этих пяти слов, не зная по-французски. Я должна там сидеть пять-шесть часов, ко мне никто не может обратиться, я ни к кому не могу обратиться. Я себя чувствовала в первые дни ужасно. Первое французское слово в дополнение к моим пяти было слово «спичка», «алюмэт». Потому что на уроках арифметики счет учили по спичкам, каждый приносил коробок спичек и складывали – пять спичек плюс три спички. И вот они все время повторяли «алюмэт», «алюмэт». Это было мое первое новое французское слово. Я для них была иностранкой, меня звали «летранжер», даже не по имени, и я себя чувствовала там неуютно.

И мама очень скоро, месяца через два – впрочем, через два месяца я уже говорила по-французски, – отдала меня в крайне привилегированную школу. Называется она Эльзасская школа. Дочка Эренбурга под псевдонимом Ирина Эрбург написала потом о ней книжку. Она старше меня лет на пять-шесть и тоже училась там. Год я закончила в этой школе, но дальше мама не потянула. Это была очень дорогая школа, в которой учатся дети министров, дети верхушки буржуазии, дети ученых.

Вообще, средств к существованию у нас почти не было. Немножко что-то дала бабушка для начала. А потом мама организовала кукольный театр. Назывался он русским словом «Петрушка». Сделала куклы из папье-маше – тут она уже лепила формы не из черного хлеба, как в России, где он был такой несъедобный, что годился только для лепки, а из пластилина, поскольку черного хлеба во Франции не было при всем желании. Она вылепила пятнадцать-двадцать таких кукол, набрала ребят, детей знакомых. Вокруг Ревекки была компания бывших советских людей, ставших эмигрантами; они в основном плохо знали французский, а дети их были уже французами, естественно, потому что в детстве за несколько месяцев выучиваешь язык. И вот этих детей мама пригласила актерами в свой кукольный театр. Я тоже была в составе труппы, под именем, как уже говорила, Лили Имали – мамин театральный псевдоним. Кукольный театр очень простой – куклы и ширма. В одной руке ширма, в другой – чемоданчик с куклами, и можно путешествовать хоть куда. Немного бутафории, элементы декораций, и все.

Мама сняла зал в том же Латинском квартале, на рю Кампань-Премьер, и там четыре или пять раз в неделю давались спектакли. Нужна была реклама. Помещать ее в газетах было дорого, поэтому печатались проспектики, и в мои функции входило раздавать их на углах улиц. Это было не очень приятное занятие, но и остальные ребята, которые играли в театре, тоже их раздавали.

А еще нас приглашали выступать на детские утренники в богатые дома. И там я получила свои первые уроки социального неравенства, потому что в этих домах, где были лакеи в перчатках, горничные в крахмальных наколках, где было веселое детское общество, нас никогда не звали к столу, а выносили угощение в комнату. А дети, барские дети, ели отдельно. И мне почему-то это казалось ужасно обидным и дискриминационным. Естественно было бы: мы дали спектакль, а потом остаемся играть с этими детьми. Ничего подобного. Мы не имели возможности с ними контактировать, у нас, очевидно, была недостаточно голубая кровь. Вообще, я эти выездные спектакли в богатых домах очень не любила, но они помогали маме жить, это давало больше денег, чем жалкие гроши, которые приносили представления в нашем маленьком зале.

Во Франции есть народная форма кукольного театра, называется «гиньоль». Бывает он только на улицах и в парках, там играются совершено стандартные пьески со стандартными персонажами. А мама попыталась создать кукольный театр совсем другого типа, игровой, что ли, такой, каким мы его знаем теперь, каким развивал его первый русский кукольник Ефимов.

Первым маминым спектаклем была «Репка». Она перевела русскую сказку на французский, который знала с юности, говорила свободно, и мы разыгрывали.

Зимой играли в Париже, а летом ездили к морю, в Сен-Жан-де-Люз, городок возле Биаррица. Мама снимала зал, а кроме того, там были виллы богатых людей, и мы ездили со спектаклями по этим виллам.

Театр давал нам возможность жить, жить скромно, но безбедно. И все же учиться в Эльзасской школе оказалось не по карману. Я теперь знаю, что даже для состоятельных семей, для семьи, например, крупных французских журналистов, это непосильные траты. И мама перевела меня в лицей Виктора Дюрюи. Довольно близко, тоже в Латинском квартале, я пешком утром туда ходила. И там я нашла свою любимую французскую подругу. Это была семья русского эсера Нахимовича, такой довольно известный был эсер, которого сослали вместе с другими эсерами в Рязань – тогда еще ссылали не в Сибирь, а в Рязань, – потом в Рязани посадили в тюрьму, и он умер в тюрьме. А его вдове с двумя дочками, которым тогда было десять и, скажем, семь лет, разрешили эмигрировать в Париж. Вот младшая дочка Лида и стала моей любимой и лучшей подругой.

Она была на несколько лет меня старше, училась в том же лицее Виктора Дюрюи. А ее старшая сестра Гуля замечательно пела и была главной актрисой маминого театра – она пела русские романсы с куклами. Это был коронный номер. Во всяком случае, у меня сохранилось довольно много рецензий во французских газетах: кукольный театр «Петрушка» вошел в сезон и того года, и следующего.

Обретение Лиды и компании вокруг нее было важным событием в каком-то моем развитии. Все они были старше: мне двенадцать, им пятнадцать-шестнадцать. Из?за этого я стала читать другие книги, чем мои сверстники. Я читала за теми, старшими. Стала читать французскую классику, очень быстро, – чтобы, не дай бог, не отстать от них, быть в курсе, знать все, и это был большой стимул к ускоренному развитию. Но это меня страшно отвлекало от занятий в школе. И я в лицее Виктора Дюрюи была почти до весны последней ученицей. Там когда возвращают контрольные работы, то не просто ставят отметки, как у нас, а ты занимаешь определенное место: ты – пятый, ты – восьмой, ты – десятый. Ну вот, в моем классе было двадцать восемь человек, я была либо двадцать восьмая, либо двадцать седьмая. То есть я абсолютно не участвовала в том,

что происходило в классе. Я читала под партой книги, которые мне нужно было обязательно быстро дочитать, а они читали не только классику, но и, главным образом, современные французские романы. Вот тогда я прочла и Мориака, и Дю Гара, и Андре Жида. Все это я прочла очень рано. Ну и, конечно, какие тут занятия французской историей или античной историей, которую учили в лицее. Мне было не до этого, у меня были другие задачи. Или я просто витала в своих мечтах.

И в какой-то момент мама пришла в отчаяние: что же я так плохо учусь, что же я последняя в классе? И я очень хорошо помню, как одна ее подруга, которую я обожала, – она была актриса в кино и невероятная красавица с огромными зелеными глазами, звали ее Элиан Тайар, она иногда водила меня на киностудию с собой и почему-то всем там говорила, что я ее дочка, – как Элиан Тайар пошла со мной в кафе, в «Ротонду», и сказала: знаешь что, если ты не хочешь учиться, то можно и не ходить в лицей, есть другие возможности – можно тебя в какую-нибудь ремесленную школу отдать, может, ты хочешь чем-нибудь другим заниматься. А кончать лицей, сдавать на аттестат зрелости – совсем не для всех обязательно.

И меня это как-то задело. Получалось, что я не могу учиться, что ли? Через два дня предстояла контрольная по античной истории. Я взяла учебник, впервые в жизни, и все то, что они учили целую четверть, за два дня внимательно прочла один раз, другой раз, подчеркнула и, о чудо, написала контрольную и была третьей в классе. Приходит раздавать работы не учительница, а как бы, по-нашему, завуч, инспекторша. Начала она с того, что, знаете, у нас потрясающее событие: вот Лиля? Маркови?ч оказалась третьей в классе. Значит, она может учиться, значит, она просто не хочет учиться, ну пусть же она учится – я, впрочем, давно заметила, что она очень умная девочка. И это мне так польстило… Я даже на всю жизнь запомнила. И как бы обязало к чему-то. В общем, я хочу сказать, что полезно иногда хвалить детей. Вот это «я давно знала, что она умная девочка», оказалось стимулом, я увидела, что это очень легко – хорошо учиться. Нужно чуть-чуть включиться в то, что происходит, и все. После этого никаких проблем больше с учением не было, я как-то разом догнала.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Семен Львович Лунгин (1920–1996), драма тург. Ав тор сценариев «Мичман Панин», «Тучи на Борском», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Внимание, черепаха!», «Телеграмма», «Жил певчий дрозд», «Агония» (все – в со авторстве с И. Нусиновым), «Маль чик и лось», «Ро зыгрыш», «Трое в лодке, не считая со баки», «Я – актриса», «Дом с привиде ниями» и др. Автор пьес «Моя фирма», «Гусиное перо», «Семья Бахметьевых», «История одного покушения», «Пеппи Длинный чулок» (все – в соавторстве с И. Нусиновым). (Здесь и далее – прим. О. Дормана.)

2

Благо дарим за предоставление этого письма, хранящегося в РГАЛИ (ф. 55, оп. 1, ед. хр. 311), профессора Д. М. Магомедову, специалиста по жизни и творчеству А. Блока.

3

Симонович-Ефимова Н. Записки петрушечника. М. – Л.: 1925.

Купить: https://tellnovel.com/ru/dorman_oleg/podstrochnik-zhizn-lilianny-lunginoy-rasskazannaya-eyu-v-fil-me-olega-dormana

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить